# Тадеуш Боровский

# У нас в Аушвице…

###### I

…итак, я уже на медицинских курсах. Выбрали нас десятка полтора из всего Биркенау и будут учить чуть ли не на докторов. Нам предстоит узнать, сколько у человека костей, как происходит кровообращение, что такое брюшина, как бороться со стафилококками да как со стрептококками, как производить стерильно операцию слепой кишки и для чего делают пневмоторакс.

Миссия у нас весьма благородная: мы будем лечить наших товарищей, которых, «по воле злого рока», мучает болезнь, апатия или отвращение к жизни. Мы должны — именно мы, полтора десятка человек из двадцати тысяч мужчин в Биркенау, — уменьшить смертность в лагере и поднять дух узников. Так говорил нам при отъезде лагерный врач, он еще спросил у каждого о его возрасте и профессии и, когда я ответил: «Студент!» — удивленно поднял брови:

— Что же вы изучали?

— Историю литературы, — скромно ответил я.

Он с неудовольствием покачал головой, сел в машину и укатил.

Потом мы шли по очень красивой дороге в Освенцим, видели уйму всяческих пейзажей, потом кто-то где-то устраивал нас, в каком-то больничном блоке в качестве санитаров-гостей, но я этим не слишком интересовался, я сразу пошел со Сташеком (помнишь, он мне дал коричневые брюки?) по лагерю — искать кого-нибудь, кто бы передал тебе это письмо, а Сташек — к кухне и к складу, организовать на ужин белого хлеба, маргарина и хоть немного колбасы, а то ведь нас тут пятеро.

Я, конечно, никого не нашел, я же миллионщик, а тут сплошь старые номера, и они смотрят на меня свысока. Однако Сташек обещал с помощью своих связей переслать письмо, только, мол, чтоб было недлинное, «это же, наверно, такая скучища, писать девушке каждый день».

Вот когда я выучу, сколько у человека костей и что такое брюшина, я, может быть, смогу тебе помочь от твоей пиодермии, а соседке твоей по нарам — от лихорадки. Боюсь только, что даже когда буду знать, как лечить ulcus duodeni[[1]](#footnote-1), мне не удастся стащить для тебя эту дурацкую противочесоточную мазь Вилькинсона, потому что сейчас ее нет во всем Биркенау. Больных чесоткой у нас поливали мятным настоем, произнося при этом некие весьма эффективные заклинания, которые, к сожалению, нельзя повторить.

Что ж до сокращения смертности, в моем блоке лежал один лагерный «аристократ», было ему худо, сильный жар, он все чаще говорил о смерти. Однажды подозвал меня. Я присел на край кровати.

— А ведь в лагере меня знали, правда? — спросил он, тревожно глядя мне в глаза.

— Ну конечно, как можно было тебя не знать… и не запомнить, — вполне простодушно ответил я.

— Смотри, — сказал он, указывая рукой на красное от зарева окно. Сжигали там, за лесом.

— Знаешь, я хотел бы, чтобы меня положили отдельно. Чтобы не вместе. Не в кучу. Понял?

— Не бойся, — сердечно сказал я. — Я даже дам тебе простыню. И с уборщиками трупов тоже поговорю.

Он молча пожал мне руку. Но все это было зря. Он выздоровел и прислал мне из лагеря пачку маргарина. Я им сапоги мажу, он, знаешь, рыбой отдает. Вот так я уменьшил смертность в лагере. Но, пожалуй, хватит об этом, слишком уж лагерные темы.

Почти месяц, как нет писем из дому…

###### II

Чудесные дни — без поверок, без выходов на работу. Весь лагерь стоит на апельплаце, а мы, высунувшись в окно, глядим — зрители из другого мира. Люди нам улыбаются, и мы людям улыбаемся, нас называют «Товарищи из Биркенау», отчасти сочувствуя, что наша судьба такая незавидная, и отчасти стыдясь, что им так повезло. Пейзаж из окна вполне невинный, крематория не видно. Люди влюблены в Освенцим, говорят с гордостью: «У нас в Аушвице…»

И в общем-то, хвалиться есть чем. Попробуй представь себе, что такое Освенцим. Возьми Павяк, этот мерзкий сарай, прибавь Сербию[[2]](#footnote-2), помножь на двадцать восемь и поставь их так близко друг к другу, чтобы между Павяками было совсем немного места, обведи все вокруг двойным рядом колючей проволоки, а с трех сторон — бетонной стеной, замости проходы, посади хилые деревца — и между всем этим размести тысяч пятнадцать человек, которые несколько лет провели в лагерях, терпели невообразимые муки, пережили самые худшие времена, а теперь у них брюки с ровной, как стрела, складкой и ходят они вразвалку, — сделай все это и ты поймешь, почему они так презирают и жалеют нас, выходцев из Биркенау, где есть только дощатые бараки-конюшни, где нет тротуаров, а вместо бани с горячей водой — четыре крематория.

Из лазарета, в котором очень белые, как-то не по-городскому белые стены, цементный тюремный пол и много-много трехэтажных нар, прекрасно видна дорога на воле — то человек пройдет по ней, то машина проедет, то телега с решетками по бокам, то велосипедист, возможно, рабочий, возвращающийся после работы. Дальше, но уже очень-очень далеко (ты не представляешь себе, какие просторы умещаются в таком вот небольшом окне, я хотел бы после войны, если ее переживу, жить в высоком доме с окнами на поле), видны какие-то дома, а за ними синий лес. Земля черная, наверно, влажная. Как в сонете Стаффа — помнишь «Весеннюю прогулку»?

Есть, однако, в нашем лазарете и кое-какие более уютные вещи, например, кафельная печь из цветных майоликовых изразцов, таких, какие у нас на складе лежали. В этой печке есть хитроумно встроенная решетка для жарения — вроде бы ничего не видно, а хоть поросенка жарь. На нарах «канадские» одеяла, пушистые, как кошачий мех. Простыни белые, хорошо выглаженные. Есть стол, который иногда накрывают скатертью — для праздничных трапез.

Окно выходит на обсаженную березами дорогу — Биркенвег. Жаль, что теперь зима и ветки плакучих берез без листьев висят, как растрепанные метлы, а вместо газонов под ними липкая грязь — наверно, такая, как в «том» мире за дорогой, только здесь нам приходится ее месить ногами.

По березовой дороге мы гуляем вечерами после поверки, чинно, степенно приветствуя кивками знакомых. На одном из перекрестков стоит указатель с барельефом, а на барельефе изображены двое сидящих на скамейке, один что-то шепчет другому на ухо, к ним наклонился третий и, насторожив ухо, подслушивает. Предупреждение: каждый твой разговор подслушивается, обсуждается, доносится куда надо. Здесь о каждом известно все: когда ты был доходягой, что и у кого раздобыл, кого задушил и на кого настучал, и каждый ехидно усмехается, когда кого-то похвалишь.

Итак, представь себе Павяк, во много раз увеличенный, окруженный двойным рядом колючей проволоки. Не так, как в Биркенау, где и вышки вроде аистов, стоят на высоких тонких шестах, и лампы горят через три столба, и проволока одножильная, но зато участков — пальцев не хватит сосчитать!

Нет, здесь не так: лампы горят через каждые два столба и вышки на массивных каменных основаниях, проволока двойная да еще стена вокруг.

И гуляем мы по Биркенвегу в наших штатских костюмах, прямо из прожарки — единственная пятерка не в полосатых робах.

Гуляем мы по Биркенвегу выбритые, свежие, беспечные. Народ бродит кучками, толпится перед десятым блоком, где за решетками и за наглухо забитыми окнами сидят девушки — подопытные кролики, но самая большая толпа собирается перед канцелярским блоком, и не потому, что там есть зал для оркестра, библиотека и музей, но просто потому, что на втором этаже там — «пуфф». Что такое пуфф, напишу в другой раз, а пока пусть тебя разбирает любопытство…

Знаешь, так странно писать тебе, ведь я уж очень давно не видел твоего лица. Твой образ расплывается в моей памяти, и даже большим усилием воли мне не удается его вызвать. И в снах есть что-то жуткое, ты снишься мне так явственно, так рельефно. Ведь сон — это, знаешь, не столько картина, сколько переживание, при котором ощущаешь пространство, тяжесть предметов и тепло твоего тела…

Мне трудно вообразить тебя на лагерных нарах, с остриженными после тифа волосами… Помню тебя по Павяку: высокая, стройная девушка с легкой усмешкой и печальными глазами. В Аллее Шуха ты сидела, опустив голову, и я видел только твои черные волосы, теперь остриженные.

И вот это самое заветное, что осталось во мне оттуда, из того мира: твой образ, хотя мне так трудно тебя вспомнить. И потому-то я пишу тебе такие длинные письма — это мои с тобой вечерние беседы, как тогда на Скарышевской. И потому в письмах моих нет тревоги. Я сохранил в душе большой запас спокойствия и знаю, что ты тоже его не утратила. Несмотря ни на что. Несмотря на склоненную перед гестапо голову, несмотря на тиф, несмотря на воспаление легких и — на коротко остриженные волосы.

А эти люди… Они, видишь ли, прошли страшную школу лагеря, того первоначального лагеря, о котором ходят легенды. Они весили тридцать кило, их били, из их рядов отбирали в газовые камеры — понимаешь, почему теперь у них такие смешные пиджаки в обтяжку, особенная качающаяся походка и почему они на каждом шагу хвалят Освенцим?

В общем, так вот… Гуляем мы по Биркенвегу, этакие франты в штатском. Но что поделаешь — миллионщики! А здесь — сто три тысячи, сто девятнадцать тысяч, прямо с ума сойдешь, почему нам не достались более ранние номера! Подошел к нам некто в полоску, двадцать семь тысяч, такой старый номер, голова кружится. Молодой парень с мутным взглядом онаниста и походкой зверя, чующего опасность.

— Вы откуда, друзья?

— Из Биркенау, приятель.

— Из Биркенау? — Он недоверчиво посмотрел на нас. — И так хорошо выглядите? Но ведь там ужасно… Как вы там могли выдержать?

Витек, мой долговязый друг и отличный музыкант, одергивая манжеты, ответил:

— Фортепиано у нас там, к сожалению, нету, но выдержать можно.

Старый номер посмотрел на нас будто сквозь туман.

— А мы-то боимся Биркенау…

###### III

Начало курсов все откладывается, потому что ждем санитаров из соседних лагерей: из Янины, из Явожна, из Буны. Должны также прибыть санитары из Гливиц и из Мысловиц, лагерей более дальних, но еще относящихся к Освенциму. Тем временем мы выслушали несколько возвышенных речей чернявого начальника курсов, невысокого, худенького Адольфа, который недавно приехал из Дахау и весь пропитан духом товарищества. Он будет улучшать состояние здоровья лагерников, просвещая санитаров, и снижать смертность, обучая, что такое нервная система. Адольф — исключительно симпатичный парень и не из того мира, однако, будучи немцем, он не понимает соотношения предметов и представлений и цепляется за значение слов, как если бы они были реальностью. Он говорит «камераден» и думает, что мы действительно товарищи; он говорит «уменьшать страдания» и думает, что это возможно. На воротах лагеря сплетенные из железных прутьев буквы: «Труд дает свободу». Пожалуй, они и впрямь в это верят, эти эсэсовцы и заключенные немцы. Те, которые воспитывались на Лютере, Фихте, Гегеле, Ницше. В общем, курсов пока нет, и я брожу по лагерю, совершаю краеведческие и психоведческие экскурсии. Точнее, бродим мы втроем: Сташек, Витек и я. Сташек обычно крутится возле кухни и склада, высматривая тех, кому он когда-то что-то дал и кто теперь должен дать ему. И вот вечером начинается хождение. Являются какие-то типы с гнусными физиономиями, любезно улыбаются, морща бритые щеки, и вытаскивают из-под узеньких пиджаков кто пачку маргарина, кто белый больничный хлеб, этот колбасу, тот сигареты. Они бросают все это на нижние нары и исчезают, как привидения. Мы делим добычу, разбираем из пачек сигареты и готовим себе еду в печке с цветными майоликовыми изразцами.

Витека не оторвешь от рояля. Стоит эта черная бандура в музыкальном зале того блока, где находится и пуфф, но в «арбайтсцайт»[[3]](#footnote-3) играть не разрешается, а после поверки там играют музыканты, которые, кроме того, дают каждое воскресенье симфонические концерты. Обязательно схожу послушаю.

Против музыкального зала мы обнаружили двери с надписью: «Библиотека», но люди сведущие утверждают, что там всего несколько детективных романов, и выдают их лишь «райхсдойчам». Проверить не мог, потому что двери всегда заперты.

Рядом с библиотекой в этом блоке культуры есть политический отдел, а возле него — зал музея. Там находятся фотографии, изъятые из писем, и, кажется, больше ничего. А жаль, могли бы ведь там поместить ту недожарившуюся человеческую печень, за надкус которой моему приятелю греку всыпали двадцать пять ударов по заду.

Но самое главное находится на втором этаже. Это пуфф. Пуфф — это окна, полуоткрытые даже зимой. В окнах после поверки появляются женские головки всевозможных мастей, а из голубых, розовых и салатовых (я очень люблю этот цвет) халатиков выглядывают белые, как морская пена, плечики. Головок, я слышал, пятнадцать, значит, плечиков — тридцать, если не считать старой Мадам с могучим, эпическим, легендарным бюстом, которая сторожит эти головки, шейки, плечики и т. д… Мадам в окно не выглядывает, зато исполняет службу цербера у входа в пуфф.

Вокруг пуффа стоят толпой лагерные аристократы. Если Джульетт десяток, то Ромео (и отнюдь не завалящих) тысяча. Поэтому к каждой Джульетте толчея и конкуренция. Наши Ромео стоят в окнах бараков, находящихся напротив, кричат, сигнализируют руками, манят. Среди них старший в лагере и главный капо, и больничные врачи, и капо из команд. У многих Джульетт есть постоянные обожатели, и наряду с уверениями в вечной любви, в счастливой совместной жизни после лагеря, наряду с упреками и шутливой перебранкой слышны речи о вещах более конкретных — мыле, духах, шелковых трусиках и сигаретах.

Среди соперников царит дух товарищества — нечестных приемов не применяют. Женщины в окнах очень нежны и соблазнительны, но недоступны, как золотые рыбки в аквариуме.

Так выглядит пуфф снаружи. Внутрь можно проникнуть только через канцелярию, по талону, который является наградой за хорошую, усердную работу. Правда, мы в качестве гостей из Биркенау и здесь пользуемся привилегией, однако мы отказались, у нас ведь красные треугольники[[4]](#footnote-4). Пусть уж уголовники пользуются тем, что им положено. Поэтому извини, но сведения будут не из первых рук, хотя они исходят от таких почтенных свидетелей и таких старых номеров, как санитар (впрочем, уже только почетный) М. из нашего блока, у которого номер почти в три раза меньше, чем две последние цифры моего номера. Представляешь — член-учредитель! Поэтому он ходит вразвалку, как утка, и носит широкие брюки клеш, скрепленные спереди английскими булавками. Вечерами он возвращается возбужденный и веселый. Он, понимаешь, наладился ходить в канцелярию и, когда зачитывают номера «допущенных», ждет, нет ли отсутствующего; тогда он кричит «hier»[[5]](#footnote-5), хватает пропуск и бежит к Мадам. Сует ей в лапу пару пачек сигарет, она проделывает ему ряд гигиенических процедур, и, весь промытый, санитар наш мчится во весь опор наверх. Там по коридору прохаживаются стоявшие у окон Джульетты в небрежно запахнутых на голом теле халатиках. Какая-нибудь из них, проходя мимо санитара, лениво спрашивает:

— Какой у вас номер?

— Восьмой, — отвечает санитар, для верности посмотрев на талончик.

— А, это не ко мне, это к Ирме, вот к той блондиночке, — разочарованно буркнет девушка и шаркающей походкой отойдет к окну.

Тогда санитар входит в дверь с восьмеркой. На дверях он еще прочитает, что таких-то и таких-то развратных манипуляций производить не разрешается, за это карцер, а разрешается лишь то-то и то-то (подробный перечень) и лишь на столько-то минут, со вздохом посмотрит на глазок, в который иногда заглядывают товарки, иногда Мадам, иногда командофюрер пуффа, а иногда даже сам комендант лагеря, кладет на стол пачку сигарет и… да, еще он замечает, что на тумбочке лежат две пачки английских. Потом наконец совершается то самое, после чего санитар выходит, по рассеянности сунув в карман те две пачки английских сигарет. Тут он опять подвергается дезинфекции и, веселый и счастливый, все это рассказывает нам.

Впрочем, дезинфекция порой подводит, из-за чего в пуффе некогда пошла зараза. Пуфф закрыли, проверили по номерам, кто был, вызвали их по списку к начальству и подвергли лечению. Поскольку же торговля пропусками ведется широко, лечили не тех, кого надо. Ха-ха, такова жизнь. Женщины из пуффа также совершали экскурсии в лагерь. Ночью в мужских костюмах они спускались по лестнице и участвовали в пьянках и оргиях. Но это не понравилось часовому из ближайшей будки, и все прекратилось.

Женщины есть и в другом месте: блок десятый, экспериментальный. Там производят искусственное оплодотворение (так говорят), прививают тиф, малярию, делают хирургические операции. Я мельком видел того, кто занимается этой работой: в зеленом охотничьем костюме, в тирольской шляпе, утыканной спортивными значками, лицо добродушного сатира. Говорят, профессор университета.

Женщины защищены решетками и заборами, но сплошь да рядом мужчины прорываются и туда и оплодотворяют их отнюдь не искусственно. Старый профессор, наверно, бесится.

Ты пойми, люди, которые этим занимаются, не извращенцы какие-нибудь. Весь лагерь, как люди поедят и выспятся, говорит о женщинах, весь лагерь мечтает о женщинах, весь лагерь рвется к ним. Старший надзиратель лагеря угодил в карательный транспорт за то, что систематически пробирался в пуфф через окно. Девятнадцатилетний эсэсовец застукал в амбулатории дирижера, толстого, почтенного господина, а также нескольких врачей в не вызывающих сомнения позах с партнершами, пришедшими рвать зубы, и, не мешкая, отвесил оказавшейся у него в руке тростью надлежащую порцию ударов по надлежащему месту. Подобное событие — не позор: просто им не повезло.

В лагере нарастает психоз влечения к женщине. Поэтому к женщинам из пуффа относятся как к нормальным женщинам, которым говорят о любви и о семейной жизни. Женщин таких десять, а мужчин в лагере больше десяти тысяч.

Поэтому они так стремятся в ФКЛ[[6]](#footnote-6) в Биркенау. Эти люди — больные. И подумай: Освенцим ведь не единственный. Есть сотни «больших» концентрационных лагерей, есть «офлаги» и «шталаги», есть…

Знаешь, о чем я думаю, когда пишу тебе все это?

Сейчас поздний вечер, я сижу, отгороженный шкафом от большой палаты со множеством тяжело дышащих во сне больных, сижу в маленьком закутке у черного окна, в котором отражаются мое лицо, салатовый абажур лампы и белый лист бумаги на столе. Франц, молоденький паренек из Вены, договорился со мною в первый же вечер, и я сижу теперь за его столом, при свете его лампы и пишу тебе на его бумаге. Но я не буду писать о том, о чем мы говорили сегодня, — о немецкой литературе, о вине, о философии романтизма, о проблемах материализма.

Знаешь, о чем я думаю, когда пишу тебе все это?

Я думаю о Скарышевской улице. Смотрю в темное окно, вижу в стекле отражение своего лица, а за стеклом — ночь и внезапные вспышки прожекторов на сторожевых вышках, выхватывающие из темноты куски лагеря. Смотрю и думаю о Скарышевской улице. Вспоминаю бледное, усеянное искрами небо, развалины сгоревшего дома напротив и переплет оконной рамы, рассекающий эту картину, как витраж.

Я думаю о том, как мучительно тосковал по твоему телу в те дни, и порой слегка улыбаюсь, когда мелькает мысль о том, как они, наверно, бесились, когда после нашего ареста нашли у нас наряду с моими книгами и стихами — твои духи и халат, красный, как парча на картинах Веласкеса, тяжелый, длинный халат (мне он ужасно нравился, в его обрамлении ты выглядела роскошно, хотя я никогда тебе об этом не говорил).

Я думаю о том, сколько в тебе было зрелости, сколько доброты и — прости, что я это тебе пишу теперь — сколько самоотверженности ты вложила в наши отношения, как охотно входила в мою жизнь, — крошечная комнатенка без воды, вечера с холодным чаем, несколько полуувядших цветков, собака, которая все грызла, и керосиновая лампа у моих родителей.

Я думаю об этом и снисходительно усмехаюсь, когда мне толкуют о морали, о законах, о традициях, о долге… Или когда отвергают всякую нежность и сентиментальность и, показывая кулак, говорят о жестоком веке. Усмехаюсь и думаю, что человек снова и снова находит человека — через любовь. И что это — самое главное и самое неизменное в человеческой жизни.

Я думаю об этом и вспоминаю камеру в Павяке. В первую неделю я не мог себе вообразить дня без книги, без вечернего светлого круга под лампой, без листа бумаги, без тебя…

И смотри, что значит привычка: я ходил по камере и в ритме шагов сочинял стихи. Одно стихотворение я записал в Библии товарища по тюремной камере, но из других — то были песни в горацианском духе — я помню лишь отдельные строфы, например, вот эту из стихотворения к друзьям на воле:

Друзья дорогие мои на свободе! Тюремною песней

Я с вами прощаюсь, чтоб знали: отчаянью я не поддался.

Я верю, что после меня и любовь и стихи мои век не исчезнут,

А также, пока вы живете, жив буду я в памяти вашей.

###### IV

Сегодня воскресенье. До полудня гуляли, глазели сверху на экспериментальный женский блок (они просовывают головы в решетку, точно как кролики моего отца, ты помнишь, серые, с одним обвислым ухом?), потом внимательно осматривали блок ЗК[[7]](#footnote-7) (там во дворе пресловутая черная стена, у которой прежде расстреливали, теперь убивают тише и скромнее — в крематории). Видели городских: две испуганные женщины в мехах и мужчина со смятым, невыспавшимся лицом. Вел их эсэсовец — только не пугайся! — в камеру временного заключения, которая как раз находится в блоке зондеркоманды. Женщины с ужасом смотрели на людей в полосатых робах и на внушительные лагерные сооружения: двухэтажные здания, двойная колючая проволока, за проволокой стена, массивные сторожевые вышки. А если б они еще знали, что стена — так говорят — уходит на два метра вглубь, чтобы нельзя было сделать подкоп! Мы им улыбались, это же просто комедия — посидят неделю-другую и выйдут. Разве что им докажут-таки, что они занимались спекуляцией. Тогда отправятся в крематорий. Смешные эти городские. Реагируют на лагерь, как дикари на огнестрельное оружие. Они не понимают механизма нашей жизни, им чудится во всем этом что-то невероятное, мистическое, превосходящее силы человеческие. Помнишь, как ты, когда тебя арестовали, сидела в оцепенении, — ты мне об этом писала. Я читал у Марии «Степного волка»[[8]](#footnote-8) (она тоже была в чтении переборчива), но не слишком себе представлял, как себя чувствуют при аресте.

Теперь же, когда мы запанибрата с невероятным и мистическим, когда крематорий — наша повседневность и кругом тысячи флегмонозных и чахоточных, испытав, что такое дождь и ветер, и солнце, и хлеб, и суп из брюквы, и труд ради спасения, и рабство, и власть, живя, так сказать, наравне со скотом, — я смотрю на них, на городских этих, чуточку снисходительно, как ученый на невежду, как посвященный на профана.

Очисть повседневные события от их повседневности, отбрось ужас, и отвращение, и презрение и найди для всего этого философскую формулу. Для газа и для золота, для поверки и для пуффа, для новичка и для старого номера.

Если бы я сказал тебе тогда, когда мы танцевали вдвоем в маленькой комнатке при оранжевом свете: послушай, вот тебе миллион человек, или два, или три миллиона, убей их так, чтобы никто об этом не знал, даже они сами, посади в тюрьму несколько сот тысяч, сломи их солидарность, натрави человека на человека… ты, конечно, сочла бы меня сумасшедшим, и, пожалуй, нам пришлось бы прервать танец. Но я бы, наверно, так не сказал, даже если бы знал лагерь, — я не стал бы портить настроение.

А тут — во-первых, один деревенский, с белеными стенами сарай, и в нем — душат людей. Потом четыре строения побольше — двадцати тысяч как не бывало. Без волшебства, без ядов, без гипноза. Несколько человек направляют движение, чтобы не было толчеи, и люди текут, как вода из крана. Происходит это среди хилых деревьев задымленного лесочка. Обыкновенные грузовики подвозят людей, возвращаются и опять подвозят — как на конвейере. Без волшебства, без ядов, без гипноза.

И как же это получается, что никто не крикнет, не плюнет в лицо, не вцепится в грудь? Почему мы снимаем шапку перед эсэсовцами, которые возвращаются из того лесочка, а когда назовут нас в списке, идем с ними на смерть и — молчок? Голодаем, мокнем под дождем, у нас отбирают близких. Видишь ли, это мистика. Странное колдовство, которым человек сковывает человека. Какая-то дикая пассивность, которую ничем не пронять. И единственное оружие — наша численность, газовые камеры не вмещают.

Или еще так: рукоятью лопаты по горлу, и вот тебе по сто человек ежедневно. Или суп из крапивы и хлеб с маргарином, а потом молодой, рослый эсэсовец с измятым листком бумаги, номер, вытатуированный на твоей руке, потом грузовик, один из тех…

…а знаешь, когда в последний раз отбирали «арийцев» в «газ»? Четвертого апреля. А помнишь, когда мы прибыли в лагерь? Двадцать девятого апреля. А что было бы с твоим воспалением легких, если бы мы приехали сюда на три месяца раньше?

…знаю, что ты лежишь на общих нарах с подругами, которых, наверно, очень удивляют мои письма. «Ты говорила, этот Тадеуш веселый, а смотри, пишет он все только о печальных вещах». И наверно, они мною очень возмущаются. Но ведь мы же имеем право говорить и о том, что происходит вокруг нас. Мы же не выискиваем зло попусту и безответственно, мы просто утопаем в нем…

…а теперь вот опять поздний вечер после дня, полного удивительнейших происшествий.

После обеда я пошел на боксерский матч в большой барак «вашраума»[[9]](#footnote-9), туда, откуда раньше отправлялись партии в «газ». Нас пропустили в самую середину, хотя зал был набит до отказа. Ринг был устроен в просторном предбаннике. Верхний свет, судья (NB, польский олимпийский судья), боксеры с мировой славой, но только арийцы, евреям выступать не разрешается. И те же люди, которые изо дня в день выбивают зубы десятками, люди, у которых у самих нередко увидишь беззубую челюсть, — восторгались Чортеком, Вальтером из Гамбурга и каким-то пареньком, который, тренируясь в лагере, достиг, говорят, высокого класса. Тут еще жива память о номере 77, который когда-то избивал немцев в боксе за милую душу, беря на ринге реванш за то, что другим доставалось на работе.

Зал был весь в сигаретном дыму, боксеры лупили друг друга вволю. Но делали это непрофессионально, хотя и весьма энергично.

— Вот тебе и Вальтер, — говорит Сташек, — только посмотрите! В рабочей команде, если захочет, так одним ударом доходягу уложит! А тут, глядишь, три раунда и — ничего! Еще ему самому морду набили. Наверно, зрителей слишком много, правда?

Зрители тоже благодушествовали, а уж мы-то в первом ряду — понятное дело, гости.

Сразу после бокса я отправился «в свет», на концерт. Вы там, в вашем Биркенау, понятия не имеете, какие тут происходят чудеса культуры, в нескольких километрах от печей. Вообрази, играют увертюру к «Танкреду», и что-то Берлиоза, и еще какие-то финские танцы композитора, у которого в фамилии сплошные «а». Куда Варшаве до такого оркестра! Но расскажу тебе все по порядку, а ты слушай, стоит того. Так вот, вышел я после бокса в приподнятом настроении и сразу направился в блок, где пуфф. Внизу, под пуффом, музыкальный зал. Там были теснота и шум, у стен стояли слушатели; музыканты, рассевшись по всему залу, настраивали инструменты. Против окна — возвышение, на него взошел кухонный капо (он же дирижер), и тут «картофельники» и «повозочники» (забыл тебе написать, что оркестр в рабочее время чистит картошку и возит тачки) начали играть. Я едва успел втиснуться между вторым кларнетом и фаготом. Примостился на незанятом стуле первого кларнета и весь обратился в слух. Ты даже вообразить не можешь, как мощно звучит симфонический оркестр из тридцати человек в большой комнате! Дирижер взмахивал палочкой осторожно, чтоб не удариться рукой об стену и выразительно грозил тем, кто фальшивил. Вот уж задаст им на картошке! Сидевшие по углам комнаты (с одной стороны бубен, с другой контрабас) наяривали изо всех сил. Всех заглушал фагот — может, потому, что я сидел с ним рядом. А уж контрабас! Пятнадцать слушателей (больше не поместилось) упивались музыкой со знанием дела и награждали оркестр скупыми аплодисментами… Кто-то назвал наш лагерь «Betrugslager» — «лагерь обманов». Чахлая живая изгородь у белого домика, дворик вроде деревенского, таблички с надписью «баня» — этого достаточно, чтобы одурачить миллионы людей, обмануть их, даже ведя на смерть. Какой-нибудь бокс, да газончики возле блоков, да две марки в месяц для самых прилежных узников, горчица в ларьке, еженедельная проверка на вшей и увертюра к «Танкреду» — этого достаточно, чтобы обмануть мир и — нас. Те, на воле, думают, что это ужасно, но все же не так уж страшно, если есть и оркестр, и бокс, и газоны, и одеяла на койках… Обман даже в той пайке хлеба, к которой надо что-то добавлять, чтобы выжить.

Обман — наша работа, во время которой нельзя разговаривать, сидеть, отдыхать. Обман — каждая неполная лопата земли, которую мы выбрасываем из рва.

Внимательно приглядывайся ко всему этому и не трать сил, если тебе плохо.

Ведь возможно, что об этом лагере, об этом времени обманов, мы еще должны будем дать отчет живым и встать на защиту погибших.

Когда-то мы ходили в лагерь командами. В такт шагающим шеренгам играл оркестр.

Подошли люди из ДАВ[[10]](#footnote-10) и десятки других команд и остановились у ворот: десять тысяч мужчин. И тогда подъехали из ФКЛ грузовики с голыми женщинами. Женщины протягивали руки и кричали:

— Спасите! Нас везут в «газ»! Спасите нас!

И они проехали мимо нас, мимо стоявших в глубоком молчании десяти тысяч мужчин. Ни один человек не пошевельнулся, ни одна рука не поднялась.

Потому что живые всегда правы перед мертвыми.

###### V

Сперва мы были на курсах. В общем-то, мы посещаем курсы уже давно, только я тебе об этом ничего не писал, потому что они на чердаке и там очень холодно. Мы сидим на утащенных из разных мест стульях и отлично развлекаемся, между прочим, большими муляжами частей человеческого тела. Кто полюбопытней, разглядывает их, а мы с Витеком перебрасываемся губкой и фехтуем линейками, чем приводим в отчаяние чернявого Адольфа. Он размахивает руками над нашей головой и разглагольствует о чувстве товарищества и о лагере. Тогда мы тихо усаживаемся в угол, Витек достает фотографию жены и вполголоса спрашивает:

— Интересно, много он поубивал там, в Дахау? Наверно, да. Иначе не задавался бы так… Ты бы его придушил?

— Угу… Да, красивая женщина. Ты ее любишь?

— Гуляли мы однажды в Прушкове[[11]](#footnote-11). Кругом, знаешь, зелень, укромные тропинки, на горизонте лес. Идем, прижавшись друг к другу, и тут сбоку выскакивает эсэсовская собака…

— Ну-ну, не заливай. Это ж в Прушкове было, не в Освенциме.

— Нет, правда, эсэсовская собака, там рядом вилла, захваченная эсэсовцами. И зверюга эта кинулась на мою Ирку! Что бы ты сделал? Я пальнул из револьвера по зверю, хватаю жену за руку. «Ирка, — говорю, — бежим!» А она стоит как вкопанная и на пушку уставилась: «Откуда это у тебя?» Еле уволок ее, а на вилле уже голоса слышались. Эх, и припустили мы через поле, точно пара зайцев. Долго мне пришлось объяснять Ирке, что при моей профессии эта железная штука необходима.

Тем временем кто-то из очередных докторов толкует о пищеводе и о всякой всячине, что есть внутри у человека, а Витек, как ни в чем не бывало, продолжает трепаться:

— Поссорился я как-то раз с приятелем. Решил — или он, или я. Впрочем, он тоже так решил, я ж его хорошо знал. Ходил я за ним и только поглядывал, нет ли за мною хвоста. Застукал его вечерком на Хмельной и пырнул, только не попал куда надо. Прихожу на другой день, у него рука перевязана, сам на меня исподлобья смотрит. Говорит: «Я упал».

— А ты что? — спрашиваю я с интересом, история явно недавняя.

— Да ничего, потому что меня сразу посадили.

Был ли этот приятель тому причиной или же нет, сказать трудно, однако Витек не из тех, кто поддается судьбе. В Павяке он был то ли надзирателем, то ли банщиком — в общем, пипель[[12]](#footnote-12) у Кроншмидта, который вместе с одним украинцем в каждое дежурство мучил евреев. Знаешь подвалы Павяка? Их железные полы? Так вот, евреи, голые, с распаренной после бани кожей, должны были ползать по ним туда и обратно, туда и обратно. А ты видала когда-нибудь подошвы солдатских сапог? Сколько там гвоздей? Кроншмидт становился в таких сапогах на голое тело и ездил на ползающем человеке. Для арийцев была поблажка, я, правда, тоже ползал, но в другой секции и на меня никто не влезал. И заставляли меня ползать не из принципа, а когда плохо отрапортую. Для нас зато была гимнастика: один час в два дня. Бегать вокруг двора, потом падать и выжиматься на руках, хорошее упражнение, его в школе делают.

Мой рекорд: 76 раз подряд и боль в руках до следующего раза. Но самое лучшее упражнение из мне известных, это коллективное «Налет, прячься!». Шеренга по двое, в затылок один другому, несет на плечах лестницу, поддерживая ее одной рукой. При команде «Налет, прячься!» все падают наземь, не выпуская из рук лестницу. Кто отпустит руку, погибает под ударами дубинки или затравленный собаками. Потом по ступенькам лежащей на людях лестницы начинает ходить эсэсовец — туда и обратно, туда и обратно. Потом надо встать и, не смешивая рядов, опять падать.

Видишь ли, тут все неправдоподобно: без конца кувыркаться, как в Заксенхаузене, часами катиться по земле, делать сотни приседаний, дни и ночи стоять на одном месте, месяцами сидеть в бетонном гробу, в карцере, висеть привязанным за руки на столбе или на жерди, положенной на два стула, скакать по-лягушечьи или ползти ужом, ведрами, до удушья, пить воду, быть битым тысячами всевозможных кнутов и палок тысячами различных людей — я, знаешь, с жадностью слушаю истории из никому не известных провинциальных тюрем в Малкине, Сувалках, Радоме, Пулавах, Люблине, о чудовищно усовершенствованной технике мученья человека и не могу поверить, что она выскочила из головы человеческой внезапно, как Минерва из головы Юпитера. Я не могу понять этой внезапно вспыхнувшей страсти убивать, этого взрыва, казалось бы, изжитого атавизма.

И еще вот что: смерть. Мне рассказывали о таком лагере, куда каждый день приходили эшелоны с новыми узниками, по нескольку десятков человек каждый. Но в лагере было установлено постоянное количество порций — не помню сколько, может, две, может, три тысячи, — и комендант не желал, чтобы узники голодали. Каждый узник должен был получать свой паек. Так что в лагере каждый день было несколько десятков лишних людей. Каждый вечер в каждом блоке бросали жребий на картах или на хлебных катышках, и вытянувшие смерть на следующий день не шли на работу. В полдень их выводили за ограду и расстреливали.

И среди этого разгула атавизма стоит человек из другого мира, человек, который занимается конспирацией для того, чтобы не было тайных афер, который крадет, чтобы на земле не было грабежей, человек, который убивает, чтобы не было больше убийств.

И вот Витек был из того, другого мира, и он же был пипелем у Кроншмидта, злейшего палача в Павяке. А теперь он сидит рядом со мной и слушает, что есть у человека внутри и как быть, если это, там внутри, испортится, как это налаживать подручными средствами. Потом на курсах случился скандал. Доктор обратился к Сташеку, который так здорово умеет что хочешь раздобыть, и приказал повторить про печень. Сташек повторил плохо. Доктор сказал:

— Вы отвечаете очень глупо и, кстати, могли бы встать.

— Я сижу в лагере, значит, могу и на курсах сидеть, — ответил, побагровев, Сташек. — И, кстати, прошу меня не оскорблять.

— Молчать, вы на курсах.

— Ну ясно, вам хочется, чтобы я молчал, а то я мог бы слишком много нарассказать, что вы тут творили в лагере.

Тут мы давай стучать стульями и орать: «Верно! верно!», и доктор выбежал за дверь. Пришел Адольф, стал нам долдонить про чувство товарищества, а потом мы пошли в блок, как раз на половине системы пищеварения. Сташек сразу помчался к своим друзьям, чтобы доктор не смог ему подставить ножку. И наверно, не подставит, потому что у Сташека есть надежная рука. Только это и выучили мы из лагерной анатомии: у кого есть надежная рука, тому трудно подставить ножку. А с доктором тем и вправду всякое бывало, он на больных хирургии учился. Сколько их искромсал ради науки, а сколько по невежеству — сосчитать трудно. Но, наверно, немало, потому что больница всегда забита, да и морг полнехонек.

Читая это, ты подумаешь, что я уже совершенно отдалился от того, домашнего мира. Все пишу тебе только о лагере, о наших мелких происшествиях, вылущиваю из этих происшествий их смысл, словно ничто иное нас уже не ждет…

Помнишь нашу комнатку? Литровый термос, который ты мне купила? Он не влезал в карман и в конце концов — к твоему возмущению — отправился под кровать. А ту историю с облавой на Жолибоже, во время которой ты целый день передавала мне репортажи по телефону? О том, что вытаскивали из трамваев, но ты, мол, вышла на остановку раньше; что был оцеплен квартал, но ты убежала в поля у самой Вислы? И то, как ты, когда я сетовал на войну, на варварство, на то, что мы вырастаем поколением неучей, мне говорила:

— Подумай о тех, кто в лагерях! Мы только тратим время попусту, а они мучаются.

В том, что я говорил, было много наивности, незрелости и жажды комфорта. Но думаю, что мы все же не тратили время попусту. Вопреки ужасам войны мы жили в другом мире. Возможно, ради того мира, который настанет. Если это слишком смело сказано — извини. А то, что теперь мы здесь, — это, пожалуй, тоже ради того мира. Ведь если бы не надежда, что тот, другой мир настанет, что человеку вновь вернут его права, неужели ты думаешь, что мы прожили бы в лагере хоть один день? Именно она, надежда, велит людям апатично идти в газовую камеру, велит не рисковать, не пытаться бунтовать, погружает в оцепенение. Именно надежда рвет узы семьи, велит матерям отрекаться от детей, женам — продавать себя за хлеб и мужьям — убивать людей. Именно надежда велит им бороться за каждый день жизни, потому что, может быть, как раз этот день принесет освобождение. Ах, и это даже не надежда на другой, лучший мир, а просто на жизнь, в которой будет покой и отдых. Никогда еще в истории человечества надежда не была так сильна в человеке, но никогда она не причиняла и столько зла, как в этой войне, как в этом лагере. Нас не научили отказываться от надежды, и потому мы гибнем от газа.

Смотри, в каком оригинальном мире мы живем: как мало сыщется в Европе людей, которые бы не убили человека! И как мало людей, которых другие люди не жаждут убить!

А мы-то мечтаем о мире, где есть любовь другого человека, где можно уединиться от людей и отдохнуть от инстинктов. Таков, видимо, закон любви и молодости.

P. S. Но прежде я, знаешь, охотно прирезал бы кое-кого, просто для разрядки, чтобы избавиться от лагерного комплекса, комплекса снимания шапки, бездеятельного созерцания избитых и истерзанных, комплекса страха перед лагерем. Боюсь, однако, что этот комплекс никогда нас не оставит. Не знаю, выживем ли мы, но хотел бы, чтобы мы когда-нибудь сумели называть вещи их настоящими именами, как делают смелые люди.

###### VI

Вот уже несколько дней у нас после обеда есть постоянное развлечение: из блока fur Deutsche[[13]](#footnote-13) выходит колонна и, маршируя с пеньем «Morgen nach Heimat»[[14]](#footnote-14), делает несколько кругов по лагерю. Дирижирует старший надзиратель лагеря, отмечая тростью Schritt und Tritt[[15]](#footnote-15).

Это уголовники, или солдаты «добровольцы». Повытаскивали все зеленые треугольники, и тех, у кого преступление полегче, пошлют на фронт. Какому-нибудь типу, который зарезал жену и тещу, а канарейку выпустил на свежий воздух, чтобы птичка не мучилась в клетке, тому повезло, он останется. Но пока они все вместе.

Учат их маршировать и ждут, проявят ли они понимание жизни в коллективе или же нет. А они проявляют коллективизм как могут. Находятся здесь всего немного дней, а уже успели разорить склад, наворовали посылок, разбили буфет и разгромили пуфф (в связи с чем его опять, ко всеобщему сожалению, закрыли). Мол, зачем, очень мудро говорят они, нам идти драться и подставлять свою голову ради эсэсовцев и кто нам будет там сапоги чистить, когда нам и здесь хорошо? Фатерланд себе фатерландом, он и без нас пропадет, а кто нам на фронте сапоги будет чистить и есть ли там хорошенькие мальчики?

И вот шагает такая орава по дороге и поет «Завтра на родину». Все славные драчуны, один знаменитей другого: Зеппель, ужас «дахдекеров», тот, который безжалостно заставляет работать в дождь, в снег и в мороз и сбрасывает с крыши за плохо забитый гвоздь; Арно Бем, номер 8, многолетний блокфюрер, капо и лагеркапо, тот, который убивал дневальных, если они продавали чай, и давал по двадцать пять ударов за каждую минуту опоздания и каждое слово, сказанное после вечернего отбоя; тот самый, который писал старикам родителям во Франкфурт короткие, но трогательные письма о разлуке и возвращении. Мы их всех узнаём: вот тот избивал в ДАВе, тот — ужас Буны, этот — хлюпик, но, когда заболел, делал набеги в комнату старшего в бараке за табаком, пока не был избит до полусмерти и изгнан в лагерь, где получил в свои воровские лапы какую-то несчастную команду. Идут в шеренге отпетые педерасты, алкоголики, наркоманы, садисты — а в самом хвосте шагает щегольски одетый Курт, он озирается вокруг, сбивается с ноги и не поет. В конце-то концов, подумал я, это он отыскал мне тебя и носил нам письма, и я мигом сбежал вниз, схватил его за шиворот и говорю:

— Курт, ты, наверно, голоден, давай, доброволец-уголовник, приходи к нам наверх, — и я показал ему наше окно.

Как-то под вечер он явился к нам — как раз к обеду, сготовленному в печке с майоликовыми изразцами. Курт очень мил (звучит это странно, но другого определения не найду) и умеет хорошо рассказывать. Когда-то он хотел стать музыкантом, но отец, богатый лавочник, выгнал его из дому. Курт поехал в Берлин, познакомился там с девушкой, дочкой другого лавочника, жил с ней, писал в спортивные газеты, угодил на месяц в каталажку за драку со «штальхельмом»[[16]](#footnote-16), а потом так и не показался к девушке. Раздобыл спортивный автомобиль и занялся контрабандой, спекулировал валютой. Однажды на прогулке встретил свою девушку, но не посмел к ней подойти. Потом ездил в Австрию и в Югославию, пока его не схватили и не посадили. И поскольку он рецидивист (из-за того несчастного месяца!), его после тюрьмы упекли в лагерь, жди, мол, конца войны. Наступает вечер, лагерная поверка кончилась. Мы сидим за столом и рассказываем истории. Рассказывают всюду: по дороге на работу, возвращаясь в лагерь, с лопатой и у вагонетки, вечером на нарах, стоя на поверке. Мы рассказываем романы и рассказываем жизнь. И то и другое из запроволочного мира. Нынче нас потянуло на лагерь, возможно, оттого, что Курт скоро из него выйдет.

— Собственно о лагере никто ничего подробно не знал. Болтали какую-то чепуху о бессмысленной работе, вроде того, что там без конца взламывают асфальт и снова им заливают или разгребают песок. Ну и конечно, о том, что это ужасно. Всякие слухи ходили. Но богом клянусь, не больно-то я этим интересовался. И так известно — попадешь, уже не выйдешь.

— Вот если бы ты, Тадек, приехал года два назад, тебя бы, наверно, уже ветром из трубы развеяло, — скептически заметил Сташек, мастер раздобывать что угодно.

Я досадливо пожал плечами.

— А может, и нет. Тебя не развеяло, так, может, и меня бы не развеяло. А знаете, в Павяке был один из Аушвица.

— Наверно, на суд приехал.

— Вот именно. Мы его спрашивали, а он молчит, будто воды в рот набрал. Одно говорил: «Приезжайте, увидите. А сейчас — что вам говорить. Вы как дети».

— Ты боялся лагеря?

— Боялся. Выехали мы из Павяка рано утром. В машинах на вокзал. Дело плохо: солнце в спину. Значит, на Западный. Аушвиц. Погрузили нас в темпе в вагоны и — поехали! Распределили по алфавиту, в вагоне по шестьдесят душ, даже не было тесно.

— Шмотки взял?

— Ясно, взял. Плед и куртку, подарки моей невесты, да две простыни.

— Эх ты, растяпа, надо было товарищам оставить. Ты что, не знал, что все отберут?

— Жалко было. Потом мы повыдергали все гвозди из одной стенки, вырвали доски и — деру! Только на крыше стоял пулемет, первых троих сразу уложили. Последний высунул голову из вагона и схлопотал пулю в затылок. Поезд сразу остановили — мы все в угол! Шум, крики, чистое пекло! Нечего было удирать! Трусы! Поубивают нас! И проклятья, да еще какие!

— Ну, уж не хуже, чем в бабском лагере.

— Не хуже. Но все равно крепкие. А я сидел на полу, в самом низу, на мне куча народу. Думаю: вот хорошо, как будут стрелять, не меня первого убьют. И таки хорошо, потому что стреляли. Дали очередь по всей куче, двоих убили, а третьего ранили в бок. И los, aus[[17]](#footnote-17), без вещей! Ну, думаю, теперь капут! Нет, только отколотили! Немного жаль было куртки, в ней Библия лежала, и она, знаете, тоже подарок моей невесты.

— Да и плед, кажется, был от невесты?

— Да. Тоже было его жалко. Но я ничего не взял, меня сбросили со ступенек. Вы и представить не можете, какой мир огромный, когда вылетаешь из закрытого вагона! Небо такое высокое…

— … голубое…

— Вот именно, голубое, деревья так пахнут, лес — рукой подать! Кругом эсэсовцы с автоматами. Четверых отвели в сторону, а нас загнали в другой вагон. Теперь нас ехало сто двадцать, из них трое убитых и один раненый. Чуть не задохнулись в вагоне. Было так душно, что с потолка буквально вода лилась. Ни одного окошка, ничего, все забито досками. Мы кричали «воздуха», «воды», но когда там начали стрелять, все сразу успокоились. Потом повалились на пол, так и лежали как зарезанные поросята. Я снял с себя свитер, две сорочки. Все тело было облито потом. Из носу медленно текла кровь. В ушах шумело. Хотелось поскорей в Освенцим, ведь это означало на свежий воздух. Когда открыли дверь на перрон, с первым глотком воздуха ко мне полностью вернулись силы. Ночь была апрельская, звездная, холодная. Холода я не чувствовал, хотя натянул на себя совершенно мокрую сорочку. Кто-то сзади обнял меня и поцеловал. «Брат, брат», — шептал он. В черноте скрывавшего землю мрака светились ряды лагерных огней. Над ними рвалось ввысь тревожное рыжее пламя. Вокруг него тьма была еще гуще. Казалось, оно пылает где-то высоко в небе. «Крематорий», — пронесся шепот по рядам.

— Красиво говоришь, видно, что поэт, — одобрительно сказал Витек.

Мы шли в лагерь, несли трупы. Я слышал позади тяжелое дыхание людей и представлял себе, что за мной идет моя невеста. То и дело глухие удары. У самых ворот мне дали штыком в бедро. Больно не было, только сразу стало очень жарко. Кровь потекла по бедру и голени. Через несколько шагов мышцы одеревенели, и я стал хромать, конвоир эсэсовец ударил еще нескольких впереди меня и, когда мы входили в решетчатые ворота лагеря, сказал:

— Тут вам будет хороший отдых.

Было это в четверг ночью. А в понедельник я уже пошел на работу, за семь километров от лагеря. В Буды, телеграфные столбы носить. Нога болела — сил нет. Но отдых тут дают, ничего не скажешь!

— Ерунда все это, — сказал Витек, — евреям-то в поезде еще хуже приходится. Нечего тебе хвалиться.

Мнения разделились — и о том, кому хуже, и о евреях вообще.

— Евреи, они знаете какие, эти евреи! — вырвался вперед Сташек. — Увидите, они здесь, в своем же лагере, еще гешефт сделают! Они и в крематории, и в гетто — родную мать продадут за миску брюквы! Стоим мы как-то утром в рабочей команде, возле нас крематорная команда, парни что быки, жизнью довольны, еще бы нет! Рядом со мною мой друг Мойше, тот самый, кочегар. Он из Млавы, и я из Млавы, сами понимаете, земляки, значит, друзья и компаньоны, надежность и доверие. «Что с тобой, Мойше? Чего ты такой скучный?» — «Да вот, получил фотографию своей семьи». — «Чего ж ты огорчаешься, это же хорошо». — «Чтоб тебе подавиться таким „хорошо“, я отца в печь отправил!» — «Не может быть!» — «Вот и может, отправил. Приехал он в эшелоне, увидел меня возле камеры, я туда людей загонял, он кинулся мне на шею, давай целовать и спрашивать, что тут будет, говорит, голодный, два дня ехали не евши. А тут начальник команды кричит, чтобы не задерживаться, работать надо! Что было делать! „Иди, говорю, отец, помойся в бане, а потом поговорим, видишь, теперь мне некогда“. И отец пошел в камеру. А фотографию я потом вынул из его одежды. Вот и скажи, что тут хорошего, что я заимел фотографию?»

Мы рассмеялись. В общем-то, неплохо, что арийцев теперь не посылают в «газ». Что угодно, только не это.

— Раньше-то посылали, — сказал «здешний» санитар, который всегда к нам подсаживается. — Я в этом блоке уже давно, многое помню. Сколько через мои руки прошло народу в «газ», товарищей и знакомых из моего города! Уже и лиц не вспомнишь. Что говорить — масса! Но один случай, пожалуй, всю жизнь буду помнить. Был я тогда санитаром в амбулатории. Перевязки делаешь без особых стараний, известно, на всякие церемонии времени нет. Поковыряешь ему руку, или спину, или еще где — лигнин, повязка и пошел вон! Следующий! Даже на лицо не взглянешь. И никто не благодарит, потому не за что. Но однажды сделал я перевязку какой-то флегмоны и слышу, он уже в дверях говорит: «Спасибо, пан санитар!» Бледный такой паренек, худенький, еле держится на опухших ногах. Я потом пошел его навестить, суп принес. У него была флегмона на правой ягодице, потом на всем бедре, гною уйма. Мучился ужасно. Все плакал, говорил о матери. «Тише ты, — говорю ему, — у нас же тоже есть матери, а мы не плачем». Утешал его как мог, а он все горевал, что домой не вернется. Что я мог ему дать? Миску супа, а иногда кусок хлеба. Укрывал я Толечку, как мог, от селекции, но однажды его обнаружили, записали. Я сразу к нему пошел. У него был жар. Говорит: «Не беда, что меня в „газ“. Видно, так надо. Но когда кончится война и ты переживешь ее…» — «Не знаю, Толечка, переживу ли», — перебил я его. «Переживешь, — настойчиво сказал он, — и поедешь к моей матери. После войны, наверно, не будет границ, не будет государств, не будет лагерей, люди не будут убивать друг друга. Ведь это есть наш последний бой, — сказал он со значением. — Последний, понимаешь?» — «Понимаю», — ответил я. «Поедешь к моей матери и скажешь ей, что я погиб. Ради того чтобы не было границ. Чтобы не было войны. Не было лагерей. Скажешь?» — «Скажу». — «Запомни: моя мать живет в Дальневосточном крае, город Хабаровск, улица Льва Толстого, двадцать пять, повтори». Я повторил. Пошел к старшему блока Шарому, он мог еще вычеркнуть Толечку из списка. А он дал мне по морде и вышвырнул из своей комнаты. Отправили Толечку в «газ». Шарый через несколько месяцев попал в эшелон. На прощанье попросил сигарет. Я подговорил народ, чтобы никто ему не давал. Не дали. Может, я плохо поступил, он же ехал на погибель в Маутхаузен. А адрес Толечкиной матери я хорошо запомнил: Дальневосточный край, город Хабаровск, улица Льва Толстого…

Мы молчали. Курт, обеспокоившись, спросил, в чем дело, он же и так из нашего разговора ничего не понимал. Витек ему изложил в двух словах:

— Говорим о лагере и о том, будет ли мир лучше. Ты бы тоже мог что-нибудь рассказать.

Курт, усмехаясь, посмотрел на нас и сказал медленно, чтобы все мы поняли:

— Расскажу очень короткую историю. Когда я был в Маутхаузене, там поймали двух беглецов, как раз в сочельник. Поставили на плацу виселицу, рядом с большой елью. Когда их вешали, собрали на апельплац весь лагерь. И зажгли огни на елке. Потом вышел вперед комендант лагеря, повернулся к заключенным и скомандовал:

— Haftlinge, Miitzen ab![[18]](#footnote-18)

Мы сняли шапки. Комендант вместо традиционной новогодней речи сказал:

— Кто ведет себя как свинья, с тем будут обращаться как со свиньей. Haftlinge, Miitzen auf![[19]](#footnote-19)

Мы надели шапки.

— Разойдись. Мы разошлись.

Молча, мы закурили сигареты. Каждый думал о своем.

###### VII

Если бы вдруг рухнули стены бараков, тогда тысячи избитых, сгрудившихся на нарах людей повисли бы в воздухе. Зрелище было бы поужасней средневековых картин Страшного суда. Нет ничего более потрясающего, чем вид другого человека, спящего на своем кусочке нар, на том месте, которое он вынужден занимать, ибо у него есть тело. А уж тело-то использовали на все лады: вытатуировали на нем номер, чтобы сэкономить кандалы, дали столько часов сна ночью, чтобы человек мог работать, и столько времени днем, чтобы мог поесть. А еды ровно столько, чтобы не издох, пока может трудиться. Место для жительства лишь одно: кусочек нар, все остальное принадлежит лагерю, государству. Но этот кусочек места, и рубаха, и лопата — не твои. Заболеешь — все отберут: одежду, шапку, недозволенное кашне, носовой платок. Умрешь — вырвут у тебя золотые зубы, заранее записанные в лагерной книге. Сожгут, пеплом посыплют поля или будут осушать пруды. Правда, при сжигании переводят столько жира, столько костей, столько мяса, столько тепла! Но в других местах делают из людей мыло, из человеческой кожи — абажуры, из костей — украшения. Кто знает, может, все это на экспорт для негров, которых они когда-нибудь завоюют?

Мы работаем под землей и на земле, под крышей и на дожде, у вагонеток, с лопатой, киркой и ломом. Мы таскаем мешки с цементом, кладем кирпич, укладываем рельсы, огораживаем участки, утаптываем землю… Мы закладываем основы какой-то новой, чудовищной цивилизации. Лишь теперь я понял, чего стоят создания древности. Какое чудовищное преступление все эти египетские пирамиды, храмы, греческие статуи! Сколько крови оросило римские дороги, пограничные валы и городские здания! Этот древний мир был гигантским концентрационным лагерем, где рабу выжигали на лбу тавро владельца и распинали на кресте за побег! Этот древний мир был великим заговором свободных людей против рабов!

Помнишь, как я любил Платона? Теперь я знаю, что он лгал. Ибо в земных вещах вовсе не отражается идеал, в них заложен тяжкий, кровавый труд человека. Это мы строили пирамиды, ломали мрамор для храмов и камень для имперских дорог, это мы гребли на галерах и волочили соху, а они писали диалоги и драмы, оправдывали свои интриги благом отечества, воевали за границы и за демократию. Мы были грязны и умирали всерьез. У них был эстетический вид, и они спорили для вида.

Я говорю «нет» красоте, если в ней таится издевательство над человеком. Нет — истине, которая об этом издевательстве умалчивает. Нет — добру, которое его дозволяет.

Что же знает древний мир о нас? Знает хитрого раба у Теренция и Плавта, знает народных трибунов Гракхов и имя лишь одного раба — Спартака.

Они творили историю, и, будь то преступник Сципион, адвокат Цицерон или Демосфен, их-то мы прекрасно помним. Мы восхищаемся избиением этрусков, разрушением Карфагена, изменами, коварством и грабежом. Римское право! И теперь тоже существует право!

Что будет мир знать о нас, если немцы победят? Возникнут гигантские сооружения, автострады, фабрики, грандиозные монументы. Под каждым кирпичом будет лежать наша ладонь, на наших плечах будут перенесены железнодорожные шпалы и бетонные плиты. Уничтожат наши семьи, уничтожат больных, стариков. Уничтожат детей.

И о нас никто не будет знать. О нас умолчат поэты, адвокаты, философы, священники. Они создадут красоту, добро и истину. Создадут религию.

Три года тому назад здесь были деревни и хутора. Были поля, проселочные дороги, на межах росли груши. Были люди — не лучше и не хуже других людей.

Потом пришли мы. Мы прогнали людей, разрушили дома, разровняли землю, превратили ее в сплошную грязь. Поставили бараки, ограды, крематории. Мы принесли с собой чесотку, флегмоны и вшей.

Мы работаем на фабриках и в шахтах. Мы совершаем огромную работу, из которой кто-то извлекает неслыханную прибыль.

Поразительна история здешней фирмы «Ленц». Фирма эта построила нам лагерь, бараки, цеха, склады, карцеры, печи. Лагерь ссужал ей заключенных, а СС поставляло материалы. При подведении итогов выявились настолько фантастические, миллионные прибыли, что за голову схватился не только Аушвиц, но сам Берлин. Господа, сказали там, это невозможно, вы слишком много заработали, столько-то и столько-то миллионов! Однако, возразила фирма, извольте, вот счета. Пусть так, сказал Берлин, но мы не можем этого допустить. Тогда пополам, предложила патриотическая фирма. Тридцать процентов, еще поторговался Берлин, на том и сошлись. С тех пор все прибыли фирмы «Ленц» соответственно срезаются. Впрочем «Ленц» не огорчается: как все немецкие фирмы, она умножает основной капитал. На Освенциме она нажила громадные прибыли и спокойно ждет конца войны. Точно так же «Вагнер» и водопроводная фирма «Континенталь», фирма «Рихтер» по артезианским скважинам, «Сименс» — освещение и электрическое оборудование, поставщики кирпича, цемента, железа и леса, производители барачных секций и полосатой одежды. Равно как крупнейшая автомобильная фирма «Унион» и заведения ДАВа, занимающиеся сортировкой металлолома. Равно как владельцы шахт в Мысловицах, Гливицах, Янине, Явожне. Тот из нас, кто выживет, должен когда-нибудь потребовать эквивалент этого труда. Не деньги, не товары, но тяжкий, беспощадный труд.

Когда больные и отработавшие свое засыпают, я на расстоянии разговариваю с тобой. Вижу в темноте твое лицо, и, хотя в моих словах чуждые тебе горечь и ненависть, я знаю, что ты внимательно слушаешь.

У нас с тобой общая судьба. Только твои руки не созданы для кирки и тело не привыкло к чесотке. Нас соединяет наша любовь и безграничная любовь тех, кто остался на воле. Тех, что живут для нас и составляют наш мир. Лица родных, друзей, образы оставленных вещей. И есть самое дорогое, чем мы можем делиться: впечатления! И хотя бы нам оставили лишь тело на лазаретной койке, при нас еще останутся наша мысль и наши чувства.

И я считаю, что достоинство человека поистине заключено в его мысли и в его чувствах.

###### VIII

Ты не представляешь, как я счастлив.

Прежде всего — долговязый электрик. Каждое утро я хожу к нему с Куртом (это его знакомый), и мы отдаем ему письма к тебе. Электрик этот — фантастически старый номер, тысяча с чем-то — нагружается колбасами, мешочками с сахаром, женским бельем и засовывает куда-то в сапог пачку писем. Сам-то электрик лысый, и у него нет сочувствия к нашей любви. Электрик кривится при виде каждого письма, которое я приношу. Когда я хочу сунуть электрику сигареты, электрик говорит:

— Приятель, у нас в Аушвице за письма не берут! А ответ принесу, если удастся.

Итак, вечером опять к нему. Совершается обратная процедура: электрик лезет в сапог, достает письмо от тебя, подает мне и досадливо кривится. Потому что у электрика нет сочувствия к нашей любви. И наверняка ему не улыбается карцер, эта клетка метр на полтора. Потому как электрик очень длинный, и в карцере ему было бы неудобно.

Итак, прежде всего — долговязый электрик. А во-вторых, брак испанца. Он защищал Мадрид, бежал во Францию, и его привезли в Освенцим. Испанец как испанец: была у него какая-то француженка, а от нее ребенок. С годами ребенок порядочно подрос, а испанец все еще в лагере, и француженка давай вопить, хочет обвенчаться! Пишет прошение самому Г.! Г. возмущен: такое безобразие в новой Европе! Немедленно обвенчать!

Привезли француженку с ребенком в лагерь, с испанца в спешном порядке сняли полосатую робу, подогнали на нем элегантный, самим капо из прачечной выутюженный костюм, тщательно подобрали из богатых лагерных запасов галстук к носкам и обвенчали.

Потом новобрачные пошли фотографироваться: она с сыночком и с букетом гиацинтов в руке, он держит ее под руку. За ними оркестр in corpore[[20]](#footnote-20), а за оркестром взбесившийся эсэсовец с кухни.

— Я про вас доложу, что вы играете в рабочее время, вместо того чтобы картошку чистить! У меня суп варится без картошки! Послал я все ваши свадьбы к…

— Тише… — стали его успокаивать другие важные особы. — Таков приказ Берлина. А суп может быть и без картошки.

Тем временем молодоженов сфотографировали и предоставили им для брачной ночи апартаменты пуффа, который изгнали в десятый блок. Назавтра француженку отправили обратно во Францию, а испанца в полосатой робе — на работы.

Зато весь лагерь ходит задравши нос.

— У нас в Аушвице даже венчают.

Итак, прежде всего — долговязый электрик. Во-вторых — бракосочетание испанца. А в-третьих — мы кончаем курсы. Недавно их закончили санитарки из ФКЛ. На прощанье мы устроили им камерный концерт. Они все уселись у окон десятого блока, а в окнах нашего для них играли несколько музыкантов из оркестра: бубен, саксофон и скрипки. Чудесней всего саксофон: он плачет и рыдает, смеется и ликует!

Жаль, что Словацкий не знал его, не то, наверно, стал бы саксофонистом из-за богатой выразительности этого инструмента.

Сперва женщины, а теперь мы. Собрались на своем чердаке, пришел лагерный врач Роде (тот самый, «порядочный», который не делает разницы между евреями и арийцами), пришел, поглядел на нас и наши перевязки, сказал, что он очень доволен и что теперь у нас в Аушвице наверняка станет лучше. И быстро ушел, потому что на чердаке холодно.

Сегодня у нас в Аушвице целый день прощаются с нами. Франц, что из Вены, прочитал мне последний доклад о смысле войны. Слегка запинаясь, он говорил о людях, которые трудятся, и о людях, которые уничтожают. О победе первых и о поражении вторых. О том, что за нас воюет товарищ, наш сверстник, из Лондона и Уральска, из Чикаго и Калькутты, с континента и с острова. О грядущем братстве людей созидающих. «Вот так, — думал я, — среди уничтожения и смерти зарождается мессианизм, обычный путь мысли человеческой». Потом Франц достал посылку, которую только получил из Вены, и мы пили вечерний чай. Франц пел австрийские песни, а я читал стихи, которых он не понимал.

У нас в Аушвице мне дали с собой немного лекарств и несколько книг. Я впихнул их в пакет с едой. Только вообрази — мысли Ангелуса Силезиуса[[21]](#footnote-21). Вот я и счастлив, тут все сошлось: долговязый электрик, бракосочетание испанца, окончание курсов. А в-четвертых — вчера я получил письма из дому. Долго они меня искали, а все ж нашли.

Почти два месяца я не имел весточки из дому и ужасно тревожился — здесь, знаешь, ходят фантастические слухи о делах в Варшаве, и я уже начал было писать отчаянные письма, и как раз вчера — только подумай! — два письма: одно от Сташека и одно от брата.

Сташек пишет очень простыми фразами, как человек, которому надо передать что-то идущее от сердца на чужом языке — «Мы тебя любим и помним о тебе, — пишет он, — и помним также о Тусе, твоей невесте. Живем, трудимся и творим». Они живут, трудятся и творят, только Анджей погиб да Вацек «ушел из жизни».

И как ужасно, что эти двое, самые одаренные из нашего поколения, с самой огромной страстью к творчеству, что именно они должны были погибнуть!

Ты знаешь, как резко я восставал против них: против их имперской идеи построения ненасытного государства, их нечестности в социальном мышлении, их теории народного искусства, их философии, мутной, как сам их наставник Бжозовский[[22]](#footnote-22), их поэтической практики, пытающейся прошибить лбом твердыню «Авангарда»[[23]](#footnote-23), их стиля жизни, пронизанного сознательной или бессознательной фальшью.

И теперь, когда нас разделяет порог меж двух миров, порог, который вскоре и мы с тобой переступим, я завожу снова спор о смысле существования мира, о стиле жизни и облике поэзии. И теперь я тоже упрекаю их в том, что они поддались соблазнительным теориям могучего, захватнического государства, упрекаю в любовании злом, изъян которого в том, что это не наше зло. И теперь я упрекаю их в безыдейности их поэзии, в отсутствии в ней человека, отсутствии в ней поэта.

Но я вижу их лица через порог, из другого мира, думаю о них, о людях моего поколения, и чувствую, что пустота вокруг нас становится все заметней. Они ушли, еще такие невероятно живые, ушли на самой середине сооружаемого ими творения. Ушли, хотя неразрывно принадлежали этому миру. Я прощаюсь с ними, друзьями с другой баррикады. Пусть в мире ином они найдут истину и любовь, которых здесь не встретили!

…Эва, та девушка, которая так красиво читала стихи о гармонии и звездах и о том, что «еще не так плохо», тоже расстреляна. Пустота, пустота все более ощутимая. Уходят и дальние и близкие, и уже не о смысле борьбы, но о жизни любимых людей пусть молятся те, кто умеет молиться.

Я-то думал, что на нас это кончится. Что когда мы вернемся, то вернемся в мир, который не изведал этой ужасной, гнетущей нас атмосферы.

Что только мы опустились на дно. Но вот люди уходят и оттуда — в самом разгаре жизни, борьбы, любви.

Мы бесчувственны, словно деревья, словно камни. И молчим, словно деревья, когда их рубят, словно камни, когда их дробят.

Второе письмо — от брата. Ты же знаешь, какие сердечные письма пишет мне Юлек. И теперь пишет, что они думают о нас, что ждут, что хранят все книги и стихи…

Когда я вернусь, то увижу на моих книжных полках новый мой томик. «Это стихи о твоей любви», — пишет брат. Думаю, есть что-то символическое в том, что наша любовь и поэзия переплетаются и что стихи, которые были написаны только для тебя и с которыми тебя арестовали, это одержанная заранее верная победа. Их издали — быть может, как воспоминание о нас? Я благодарен человеческой дружбе — за то, что она сохраняет после нас поэзию и любовь и признает наше право на них.

И еще брат пишет мне о твоей матери — она думает о нас и верит, что мы вернемся и будем всегда вместе, потому что таково право человека.

…Помнишь, что ты писала в первом, полученном от тебя письме через несколько дней после прибытия в лагерь? Ты писала, что больна и что ты в отчаянии от того, что «засадила» меня в лагерь. Что если бы не ты, я бы… и т. д. А знаешь ли ты, как было на самом деле?

Было то, что я ждал твоего звонка от Марии, как мы договорились. После полудня у меня собрались на тайные курсы — как обычно по средам, — я, кажется, говорил что-то о своей работе по языку, и тут, кажется, погасла карбидная лампа.

Потом я опять ждал твоего звонка. Я знал, что ты должна позвонить, раз обещала. Ты не звонила. Не помню, ходил ли я обедать. Если ходил, то, возвратясь, опять сидел у телефона, боялся, что из соседней комнаты не услышу. Читал какие-то вырезки из газет и новеллу Моруа о человеке, который взвешивал души для того, чтобы, научившись упрятывать человеческие души в неразрушающийся сосуд, спрятать свою душу и душу любимой женщины. Но спрятал он только души двух случайно встреченных цирковых клоунов, а его душа и душа женщины развеялись по вселенной. К рассвету я заснул.

Утром пошел домой, как обычно, с портфелем, с книгами. Позавтракал, сказал, что приду обедать и что очень спешу, покрутил ухо собаке и пошел к твоей матушке. Она сильно тревожилась о тебе. Я поехал на трамвае к Марии. Долго смотрел на деревья Лазенок, они мне очень нравятся. Чтобы рассеяться, пошел пешком по Пулавской. На лестнице валялось необычно много окурков и, если память не подводит, были следы крови. Но, возможно, это самовнушение. Я подошел к двери и позвонил условным звонком. Открыли мужчины с револьверами в руках.

С тех пор миновал год. Но пишу я об этом, чтобы ты знала, — я никогда не жалел, что мы здесь вместе. И никогда не думаю о том, что могло бы быть по-другому. Хотя о будущем думаю часто. О том, как будем мы жить, если… О стихах, которые напишу, о книгах, которые мы будем читать, о вещах, которые у нас будут. Знаю, это глупо, но я о них думаю. У меня даже есть идея насчет нашего экслибриса. Это будет рука, лежащая на закрытой толстой книге с большими средневековыми металлическими застежками.

###### IX

Мы уже возвратились. Я, как прежде, пошел в свой барак, помазал чесоточных мятным настоем, а сегодня утром мы все вместе вымыли пол. Потом я стоял с умным видом возле доктора, когда он делал пункцию. Потом взял две последние ампулы пронтозила, посылаю их тебе. Наконец-то парикмахер нашего блока (на гражданке владелец ресторана возле почты в Кракове) Генек Либерфройнд признал, что теперь я бесспорно буду лучшим санитаром среди литераторов.

А еще я целый день был занят письмом к тебе. Письмо к тебе — это вот эти листки, но, чтобы они дошли куда надо, у них должны быть ноги. Вот я и искал такие ноги. Наконец нашел пару — в высоких красных сапогах со шнуровкой. У ног, кроме того, черные очки, они весьма плечисты и каждый день ходят в ФКЛ за трупами детей мужского пола. Трупы эти должны пройти через нашу канцелярию, наш морг, и наш врач должен осмотреть их собственными глазами. Мир порядком держится, или менее поэтично — Ordnung muss sein[[24]](#footnote-24).

Итак, ноги ходят в ФКЛ и со мною весьма приветливы. У них самих, говорят, жена в бабском лагере, и они знают, как это тяжело. Потому берут письма просто так, из любезности. И мне тоже передают, когда случится оказия. Ответ я посылаю сразу же и уже подумываю, как бы прийти к тебе. Прямо дорожное настроение появилось. Друзья советуют прихватить плед и подложить кое-куда. Зная мое счастье и лагерную практичность, они справедливо рассудили, что при первой же экскурсии я попадусь. Разве что кто-нибудь будет меня опекать. Я же посоветовал им помазаться от чесотки перуанским бальзамом.

И еще смотрю на пейзаж в окне. Ничего не изменилось, только удивительно много грязи прибавилось. Пахнет весной. Люди будут тонуть в грязи. Из леса тянет то запахом сосен, то дымом. То едут машины с тряпьем, то доходяги из Буны. То везут обед на вещевой склад, то эсэсовцев — сменять охрану.

Ничего не изменилось. Вчера было воскресенье, мы ходили в лагерь проверять на вшей. Как ужасны лагерные бараки зимой! Грязные нары, подметенные земляные полы и застоявшийся запах человека. Бараки забиты людьми, но вшей — ни одной. Недаром уничтожение вшей идет ночи напролет.

Закончив проверку, мы уже уходили из бараков, когда в лагерь возвращалась из крематория зондеркоманда. Они шли, прокопченные дымом, лоснясь от жира, сгибаясь под тяжелыми узлами. Им разрешается приносить все, кроме золота, однако именно золотом они больше всего промышляют.

От бараков кучками бежали люди, врывались в марширующие шеренги и хватали заранее намеченные узелки. Воздух сотрясался от криков, проклятий, ударов. Наконец зондеркоманда скрылась в воротах своего, отгороженного от остальных бараков, двора. Но сразу же оттуда начали украдкой выходить евреи — поторговать, что-нибудь раздобыть и в гости.

Я окликнул одного из них, приятеля по нашей прежней команде. Я-то заболел и отправился в лазарет. Ему больше «повезло», его назначили в зондеркоманду. Все-таки лучше, чем лопатой орудовать за миску супа. Он с радостью протянул мне руку.

— А, это ты? Надо чего-нибудь? Если у тебя есть яблоки…

— Нет, яблок у меня нет, — дружелюбно ответил я. — Ты еще жив, Абрамек? Что слышно?

— Ничего интересного. Вот чешек в «газ» отправили.

— Это я и без тебя знаю. А личные дела?

— Личные? Какие у меня могут быть личные дела? Печь, бараки и опять печь. Разве у меня есть тут кто-то близкий? Ага, если хочешь знать о личном: мы придумали новый способ сжигать в печи, знаешь какой?

Я изобразил самое вежливое любопытство.

— А вот такой. Берем четырех ребятишек с волосами, приставляем головами вместе и поджигаем волосы. Потом уже само горит и — gemacht[[25]](#footnote-25).

— Поздравляю, — сказал я сухо, без восторга.

Он как-то странно засмеялся и посмотрел мне в глаза.

— Слушай, ты, санитар, должны же мы у нас в Аушвице развлекаться как умеем. Иначе разве можно выдержать?

И, сунув руки в карманы, он, не прощаясь, удалился.

Но это ложь и гротеск, как весь лагерь, как весь мир.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](http://royallib.ru/comment/borovskiy_tadeush/u_nas_v_aushvitse.html)

[Все книги автора](http://royallib.ru/author/borovskiy_tadeush.html)

1. Язву двенадцатиперстной кишки (*лат.* ). [↑](#footnote-ref-1)
2. Сербия — женское отделение тюрьмы Павяк в Варшаве. [↑](#footnote-ref-2)
3. Arbeilszeit — рабочее время (*нем.* ). [↑](#footnote-ref-3)
4. Нашитые на лагерную одежду цветные треугольники обозначали категорию узника, в частности, красные — политических. [↑](#footnote-ref-4)
5. Здесь (*нем.* ). [↑](#footnote-ref-5)
6. ФКЛ (FKL — Frauenkonzlager) — женское отделение концлагеря. [↑](#footnote-ref-6)
7. ЗК (SK — Sonderkommando) — крематорная команда. [↑](#footnote-ref-7)
8. Роман Германа Гессе (1877–1962), изданный в 1927 г. [↑](#footnote-ref-8)
9. Waschraum — умывальная, баня (*нем.* ). В старом Oсвенциме помещение это служило для других целей, например, для спортивных состязаний. [↑](#footnote-ref-9)
10. ДАВ (DAW — Deutsche Abriistungswerke) — германские предприятия по демонтажу, занимавшиеся в основном разборкой сбитых над Германией самолетов. [↑](#footnote-ref-10)
11. Прушков — город недалеко от Варшавы. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pipel (*нем.* ) — подросток, обслуживающий капо и старост, «подкапник». [↑](#footnote-ref-12)
13. Для немцев (*нем.* ). [↑](#footnote-ref-13)
14. «Завтра на родину» (*нем.* ). [↑](#footnote-ref-14)
15. Шаг (*нем.* ). [↑](#footnote-ref-15)
16. Stahlhelm — стальной шлем (*нем.* ) — прозвище немецких жандармов. [↑](#footnote-ref-16)
17. Давай, выходи! (*нем.* ) [↑](#footnote-ref-17)
18. Заключенные, снять шапки! (*нем.* ) [↑](#footnote-ref-18)
19. Заключенные, надеть шапки! (*нем.* ) [↑](#footnote-ref-19)
20. В полном составе (*лат.* ) [↑](#footnote-ref-20)
21. Ангелус Силезиус (наст. имя — Иоганн Шефлер; 1624–1677) — немецкий поэт-мистик, автор философских изречений в стихах «Херувимский странник» [↑](#footnote-ref-21)
22. Бжозовский Станислав (1878–1911) — философ, литературный критик и романист; в своих философских воззрениях прошел эволюцию от своеобразно понятого социализма к синдикализму. [↑](#footnote-ref-22)
23. В польской литературе группа поэтов 30-х гг. — Я. Пшибось, Т. Пейпер, А. Важик. [↑](#footnote-ref-23)
24. Должен быть порядок (*нем.* ). [↑](#footnote-ref-24)
25. Готово (*нем.* ). [↑](#footnote-ref-25)